



Курт Воннегут



Бойня номер пять
Дай вам Бог здоровья,
мистер Розуотер

Библиотека классики (АСТ)

Курт Воннегут

**Бойня номер пять. Дай вам
Бог здоровья, мистер Розуотер**

«Издательство АСТ»

«ФТМ»

1969, 1965

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Воннегут К.

Бойня номер пять. Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер
/ К. Воннегут — «Издательство АСТ», «ФТМ», 1969,
1965 — (Библиотека классики (АСТ))

ISBN 978-5-17-112697-1

Курт Воннегут – культовая фигура в литературе двадцатого века. Американский писатель, сатирик, журналист и художник, перед глазами которого «прошел» чуть ли не весь двадцатый. Многие важнейшие события этого сумасшедшего века в его произведениях обретают самые неожиданные формы, обрастают причудливыми образами. В сборник включены романы «Бойня номер пять» и «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер».

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-112697-1

© Воннегут К., 1969, 1965
© Издательство АСТ, 1969, 1965
© ФТМ, 1969, 1965

Содержание

Бойня номер пять	6
1	6
2	16
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Курт Воннегут
Бойня номер пять
Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер

© Kurt Vonnegut, 1969, 1965

© Перевод. Р. Райт-Ковалева, наследники, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

Бойня номер пять

*БОЙНЯ НОМЕР ПЯТЬ,
ИЛИ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ
(пляска со смертью по долгу службы)
Автор —
КУРТ ВОННЕГУТ,
американец немецкого происхождения
(четвертое поколение),
который сейчас живет в прекрасных условиях
на мысе Код
(и слишком много курит).
Очень давно
он был американским пехотинцем
(нестрелковой службы)
и, попав в плен,
стал свидетелем бомбардировки
немецкого города Дрездена
(«Флоренции на Эльбе»)
и может об этом рассказать,
потому что выжил.
Этот роман
отчасти написан
в слегка телеграфически-шизофреническом стиле,
как пишут
на планете Тральфамандор,
откуда появляются
летающие блюда.
МИР*

Посвящается Мэри О'Хэйр и Герхарду Мюллеру

*Ревут быки, теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.*

1

Почти все это произошло на самом деле. Во всяком случае, про войну тут почти все правда. Одного моего знакомого и в самом деле расстреляли в Дрездене за то, что он взял чужой чайник. Другой знакомый и в самом деле грозился, что перебьет всех своих личных врагов после войны при помощи наемных убийц. И так далее. Имена я все изменил.

Я действительно ездил в Дрезден на Гуггенхаймовскую стипендию (благослови их Бог) в 1967 году. Город очень напоминал Дайтон, в штате Огайо, только больше площадей и скверов, чем в Дайтоне. Наверно, там, в земле, тонны искрошенных в труху человеческих костей.

Ездил я туда со старым однополчанином, Бернардом В. О'Хэйром, и мы подружились с таксистом, который возил нас на бойню номер пять, куда нас, военнопленных, запирали на ночь. Звали таксиста Герхард Мюллер. Он нам рассказал, что побывал в плену у американцев. Мы его спросили, как живется при коммунистах, и он сказал, что сначала было плохо, потому

что всем приходилось страшно много работать и не хватало ни еды, ни одежды, ни жилья. А теперь стало много лучше. У него уютная квартирка, дочь учится, получает отличное образование. Мать его сгорела во время бомбежки Дрездена. Такие дела.

Он послал О'Хэйру открытку к Рождеству, и в ней было написано так:

«Желаю Вам и Вашей семье, а также Вашему другу веселого Рождества и счастливого Нового года и надеюсь, что мы снова встретимся в мирном и свободном мире, в моем такси, если захочет случай».

Мне очень нравится фраза «если захочет случай».

Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта треклятая книжонка – сколько денег, времени, волнений. Когда я вернулся домой после Второй мировой войны, двадцать три года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказать все, что я видал. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная.

Но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден, во всяком случае, на целую книжку их не хватало. Да слова не приходят и теперь, когда я стал старым пердуном, с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями.

И я думаю: до чего бесполезны все мои воспоминания о Дрездене и все же до чего соблазнительно было писать о Дрездене. И у меня в голове вертится старая озорная песенка:

Какой-то ученый доцент
Сердился на свой инструмент:
«Мне здоровье сорвал,
Капитал промотал,
А работать не хочешь, нахал!»

И вспоминаю я еще одну песенку:

Зовусь я Йон Йонсен,
Мой дом – штат Висконсин,
В лесу я работаю тут.
Кого ни встречаю,
Я всем отвечаю,
Кто спросит:
«А как вас зовут?»
Зовусь я Йон Йонсен,
Мой дом – штат Висконсин...

И так далее, до бесконечности.

Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю, и я обычно отвечал, что главная моя работа – книга о Дрездене.

Так я ответил и Гаррисону Старру, кинорежиссеру, а он поднял брови и спросил:

– Книга антивоенная?

– Да, – сказал я, – похоже на то.

– А знаете, что я говорю людям, когда слышу, что они пишут антивоенные книжки?

– Не знаю. Что же вы им говорите, Гаррисон Старр?

– Я им говорю: а почему бы вам вместо этого не написать антиледниковую книжку?

Конечно, он хотел сказать, что войны всегда будут и что остановить их так же легко, как остановить ледники. Я тоже так думаю.

И если бы войны даже не надвигались на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная старушка-смерть.

Когда я был помоложе и работал над своей пресловутой дрезденской книгой, я запросил старого своего однополчанина Бернарда В. О'Хэйра, можно ли мне приехать к нему. Он был окружным прокурором в Пенсильвании. Я был писателем на мысе Код. На войне мы были рядовыми разведчиками в пехоте. Никогда мы не надеялись на хорошие заработки после войны, но оба устроились неплохо.

Я поручил Центральной телефонной компании отыскать его. Они здорово это умеют. Иногда по ночам у меня бывают такие припадки, с алкоголем и телефонными звонками. Я напиваюсь, и жена уходит в другую комнату, потому что от меня несет горчичным газом и розами. А я, очень серьезно и элегантно, звоню по телефону и прошу телефонистку соединить меня с кем-нибудь из друзей, кого я давно потерял из виду.

Так я отыскал и О'Хэйра. Он низенький, а я высокий. На войне нас звали Пат и Паташон. Нас вместе взяли в плен. Я сказал ему по телефону, кто я такой. Он сразу поверил. Он не спал. Он читал. Все остальные в доме спали.

– Слушай, – сказал я. – Я пишу книжку про Дрезден. Ты бы помог мне кое-что вспомнить. Нельзя ли мне приехать к тебе, повидаться, мы бы выпили, поговорили, вспомнили прошлое.

Энтузиазма он не проявил. Сказал, что помнит очень мало. Но все же сказал: приезжай.

– Знаешь, я думаю, что развязкой в книге должен быть расстрел этого несчастного Эдгара Дарби, – сказал я. – Подумай, какая ирония. Целый город горит, тысячи людей гибнут. А потом этого самого солдата-американца арестовывают среди развалин немцы за то, что он взял чайник. И судят по всей форме и расстреливают.

– Гм-мм, – сказал О'Хэйр.

– Ты согласен, что это должно стать развязкой?

– Ничего я в этом не понимаю, – сказал он, – это твоя специальность, а не моя.

Как специалист по развязкам, завязкам, характеристикам, изумительным диалогам, напряженнейшим сценам и столкновениям, я много раз набрасывал план книги о Дрездене. Лучший план, или, во всяком случае, самый красивый план, я набросал на куске обоев.

Я взял цветные карандаши у дочки и каждому герою придал свой цвет. На одном конце куска обоев было начало, на другом – конец, а в середине была середина книги. Красная линия встречалась с синей, а потом – с желтой, и желтая линия обрывалась, потому что герой, изображенный желтой линией, умирал. И так далее. Разрушение Дрездена изображалось вертикальным столбцом оранжевых крестиков, и все линии, оставшиеся в живых, проходили через этот переплет и выходили с другого конца.

Конец, где все линии обрывались, был в свекловичном поле на Эльбе, за городом Галле. Лил дождь. Война в Европе окончилась несколько недель назад. Нас построили в шеренги, и русские солдаты охраняли нас: англичан, американцев, голландцев, бельгийцев, французов, новозеландцев, австралийцев – тысячи бывших военнопленных.

А на другом конце поля стояли тысячи русских, и поляков, и югославов, и так далее, и их охраняли американские солдаты. И там, под дождем, шел обмен – одного на одного. О'Хэйр и я залезли в американский грузовик с другими солдатами. У О'Хэйра сувениров не было. А почти у всех других были. У меня была – и до сих пор есть – парадная сабля немецкого летчика. Отчаянный америкашка, которого я назвал в этой книжке Поль Лаззаро, вез около кварталы алмазов, изумрудов, рубинов и всякого такого. Он их снимал с мертвецов в подвалах Дрездена. Такие дела.

Дурак англичанин, потерявший где-то все зубы, вез свой сувенир в парусиновом мешке. Мешок лежал на моих ногах. Англичанин то и дело заглядывал в мешок, и вращал глазами, и

крутил шеей, стараясь привлечь жадные взоры окружающих. И все время стучал меня мешком по ногам.

Я думал, это случайно. Но я ошибался. Ему ужасно хотелось кому-нибудь показать, что у него в мешке, и он решил довериться мне. Он перехватил мой взгляд, подмигнул и открыл мешок. Там была гипсовая модель Эйфелевой башни. Она вся была вызолочена. В нее были вделаны часы.

– Видал красоту? – сказал он.

И нас отправили на самолетах в летний лагерь во Франции, где нас поили молочными коктейлями с шоколадом и кормили всякими деликатесами, пока мы не покрылись молодым жирком. Потом нас отправили домой, и я женился на хорошенькой девушке, тоже покрытой молодым жирком.

И мы завели ребят.

А теперь все они выросли, а я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, привычными сигаретами. Зовусь я Йон Йонсен, мой дом – штат Висконсин. В лесу я работаю тут.

Иногда поздно ночью, когда жена уходит спать, я пытаюсь позвонить по телефону старым своим приятельницам.

– Прошу вас, барышня, не можете ли вы дать мне номер телефона миссис такой-то, кажется, она живет там-то.

– Простите, сэр. Такой абонент у нас не значится.

– Спасибо, барышня. Большое вам спасибо.

И я выпускаю нашего пса погулять, и я впускаю его обратно, и мы с ним говорим по душам. Я ему показываю, как я его люблю, а он мне показывает, как он любит меня. Ему не противен запах горчичного газа и роз.

– Хороший ты малый, Сэнди, – говорю я ему. – Чувствуешь? Ты молодчага, Сэнди.

Иногда я включаю радио и слушаю беседу из Бостона или Нью-Йорка. Не выношу музыкальных записей, когда выпью как следует.

Рано или поздно я ложусь спать, и жена спрашивает меня, который час. Ей всегда надо знать время. Иногда я не знаю, который час, и говорю:

– Кто его знает...

Иногда я раздумываю о своем образовании. После Второй мировой войны я некоторое время учился в Чикагском университете. Я был студентом факультета антропологии. В то время нас учили, что абсолютно никакой разницы между людьми нет. Может быть, там до сих пор этому учат.

И еще нас учили, что нет людей смешных, или противных, или злых. Незадолго перед смертью мой отец мне сказал:

– Знаешь, у тебя ни в одном рассказе нет злодеев.

Я ему сказал, что этому, как и многому другому, меня учили в университете после войны.

Пока я учился на антрополога, я работал полицейским репортером в знаменитом Бюро городских происшествий в Чикаго за двадцать восемь долларов в неделю. Как-то меня перекинули из ночной смены в дневную, так что я работал шестнадцать часов подряд. Нас финансировали все городские газеты и АП, и ЮП¹, и все такое. И мы давали сведения о процессах, о происшествиях, о полицейских участках, о пожарах, о службе спасения на озере Мичиган, и все такое. Мы были связаны со всеми финансировавшими нас учреждениями путем пневматических труб, проложенных под улицами Чикаго.

¹ АП – Ассошиэйтед Пресс; ЮП – Юнайтед Пресс. – *Примеч. пер.*

Репортеры передавали по телефону сведения журналистам, а те, слушая в наушники, отпечатывали отчеты о происшествиях на восковках, размножали на ротаторе, вкладывали оттиски в медные с бархатной прокладкой патроны, и пневматические трубы глотали эти патроны. Самыми прожженными репортерами и журналистами были женщины, занявшие места мужчин, ушедших на войну.

И первое же происшествие, о котором я дал отчет, мне пришлось продиктовать по телефону одной из этих чертовых девок. Дело шло о молодом ветеране войны, которого устроили лифтером на лифт устаревшего образца в одной из контор. Двери лифта на первом этаже были сделаны в виде чугунной кружевной решетки. Чугунный плющ вился и переплетался. Там была и чугунная ветка с двумя целующимися голубками.

Ветеран собирался спустить свой лифт в подвал, и он закрыл двери и стал было спускаться, но его обручальное кольцо зацепилось за одно из украшений. И его подняло на воздух, и пол лифта ушел у него из-под ног, а потолок лифта раздавил его. Такие дела.

Я все это передал по телефону, и женщина, которая должна была написать все это, спросила меня:

– А жена его что сказала?

– Она еще ничего не знает, – сказал я. – Это только что случилось.

– Позвоните ей и возьмите у нее интервью.

– Что-о-о?

– Скажите, что вы капитан Финн из полицейского управления. Скажите, что у вас есть печальная новость. И расскажите ей все, и выслушайте, что она скажет.

Так я и сделал. Она сказала все, что можно было ожидать. Что у них ребенок. Ну и вообще...

Когда я приехал в контору, эта журналистка спросила меня (просто из бабьего любопытства), как выглядел этот раздавленный человек, когда его расплющило.

Я ей рассказал.

– А вам было неприятно? – спросила она. Она жевала шоколадную конфету «Три мушкетера».

– Что вы, Нэнси, – сказал я. – На войне я видал кой-чего и похуже.

Я уже тогда обдумывал книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся. В Америке немногие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. Я и сам не знал. О дрезденской бомбежке мало что просочилось в печать.

Случайно я рассказал одному профессору Чикагского университета – мы встретились на коктейле – о налете, который мне пришлось видеть, и о книге, которую я собираюсь написать. Он был членом так называемого Комитета по изучению социальной мысли. И он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло и свечи из жира убитых евреев и всякое другое.

Я мог только повторять одно и то же:

– Знаю. Знаю. Знаю.

Конечно, Вторая мировая война всех очень ожесточила. А я стал заведующим отделом внешних связей при компании «Дженерал электрик», в Шенектеди, штат Нью-Йорк, и добровольцем пожарной дружины в поселке Альплос, где я купил свой первый дом. Мой начальник был одним из самых крутых людей, каких я встречал. Надеюсь, что никогда больше не столкнусь с таким крутым человеком, как бывший мой начальник. Он был раньше подполковником, служил в отделе связи компании в Балтиморе. Когда я служил в Шенектеди, он примкнул к голландской реформистской церкви, а церковь эта тоже довольно крутая.

Часто он с издевкой спрашивал меня, почему я не дослужился до офицерского чина. Как будто я сделал что-то скверное.

Мы с женой давно спустили наш молодой жирок. Пошли наши тощие годы. И дружили мы с тощими ветеранами войны и с их тошенькими женами. По-моему, самые симпатичные из ветеранов, самые добрые, самые занятые и ненавидящие войну больше всех – это те, кто сражался по-настоящему.

Тогда я написал в управление военно-воздушных сил, чтобы выяснить подробности налета на Дрезден: кто приказал бомбить город, сколько было послано самолетов, зачем нужен был налет и что этим выиграли. Мне ответил человек, который, как и я, занимался внешними связями. Он писал, что очень сожалеет, но все сведения до сих пор совершенно секретны.

Я прочел письмо вслух своей жене и сказал:

– Господи ты Боже мой, совершенно секретны – да от кого же?

Тогда мы считали себя членами Мировой федерации. Не знаю, кто мы теперь. Наверно, телефонщики. Мы ужасно много звоним по телефону – во всяком случае, я, особенно по ночам.

Через несколько недель после телефонного разговора с моим старым дружком-однополчанином Бернардом В. О'Хэйром я действительно съездил к нему в гости. Было это году в 1964-м или около того – в общем, в последний год Международной выставки в Нью-Йорке. Увы, проходят быстротечные годы. Зовусь я Йон Йонсен... Какой-то ученый доцент...

Я взял с собой двух девчуток, мою дочку Нанни и ее лучшую подружку Элисон Митчелл. Они никогда не выезжали с мыса Код. Когда мы увидели реку, пришлось остановить машину, чтобы они постояли, поглядели, подумали. Никогда в жизни они еще не видели воду в таком длинном, узком и несоленом виде. Река называлась Гудзон. Там плавали карпы, и мы их видели. Они были огромные, как атомные подводные лодки.

Видели мы и водопады, потоки, скачущие со скал в долину Делаваара. Много чего надо было посмотреть, и я останавливал машину. И всегда пора было ехать, всегда – пора ехать. На девчурках были нарядные белые платья и нарядные черные туфли, чтобы все встречные видели, какие это хорошие девочки.

– Пора ехать, девочки, – говорил я. И мы уезжали.

И солнце зашло, и мы поужинали в итальянском ресторанчике, а потом я постучал в двери красного каменного дома Бернарда В. О'Хэйра. Я держал бутылку ирландского виски, как колокольчик, которым созывают к обеду.

Я познакомился с его милейшей женой, Мэри, которой я посвящаю эту книгу. Еще я посвящаю книгу Герхарду Мюллеру, дрезденскому таксисту. Мэри О'Хэйр – медицинская сестра, чудесное занятие для женщины.

Мэри полюбовалась двумя девчушками, которых я привез, познакомила их со своими детьми и всех отправила наверх – играть и смотреть телевизор. И только когда все дети ушли, я почувствовал: то ли я не нравлюсь Мэри, то ли ей что-то в этом вечере не нравится. Она держалась вежливо, но холодно.

– Славный у вас дом, уютный, – сказал я, и это была правда.

– Я вам отвела место, где вы сможете поговорить, там вам никто не мешает, – сказала она.

– Отлично, – сказал я и представил себе два глубоких кожаных кресла у камина в кабинете с деревянными панелями, где два старых солдата смогут выпить и поговорить. Но она привела нас на кухню. Она поставила два жестких деревянных стула у кухонного стола с белой фаянсовой крышкой. Свет двухсотсвечовой лампы над головой, отражаясь в этой крышке, дико резал глаза. Мэри приготовила нам операционную. Она поставила на стол один-единственный стакан для меня. Она объяснила, что ее муж после войны не переносит спиртных напитков.

Мы сели за стол. О'Хэйр был смущен, но объяснять мне, в чем дело, он не стал. Я не мог себе представить, чем я мог так рассердить Мэри. Я был человек семейный. Женат был только раз. И алкоголиком не был. И ничего плохого ее мужу во время войны не сделал.

Она налила себе кока-колы и с грохотом высыпала лед из морозилки над раковиной нержавеющей стали. Потом она ушла в другую половину дома. Но и там она не сидела спокойно. Она металась по всему дому, хлопала дверьми, даже двигала мебель, чтобы на чем-то сорвать злость.

Я спросил О'Хэйра, что я такого сделал или сказал, чем я ее обидел.

– Ничего, ничего, – сказал он. – Не беспокойся. Ты тут ни при чем.

Это было очень мило с его стороны. Но он врал. Я тут был очень при чем.

Мы попытались не обращать внимания на Мэри и вспомнить войну. Я отпил немножко из бутылки, которую принес. И мы посмеивались, улыбались, как будто нам что-то припомнилось, но ни он, ни я ничего стоящего вспомнить не могли. О'Хэйр вдруг вспомнил одного малого, который напал на винный склад в Дрездене до бомбежки, и нам пришлось отвозить его домой на тачке. Из этого книжку не сделаешь. Я вспомнил двух русских солдат. Они везли полную телегу будильников. Они были веселы и довольны. Они курили огромные самокрутки, свернутые из газеты.

Вот примерно все, что мы вспомнили, а Мэри все еще шумела. Потом она пришла на кухню налить себе кока-колы. Она выхватила еще одну морозилку из холодильника и грохнула лед в раковину, хотя льда было предостаточно.

Потом повернулась ко мне, чтобы я видел, как она сердится и что сердится она на меня. Очевидно, она все время разговаривала сама с собой, и фраза, которую она сказала, прозвучала как отрывок длинного разговора.

– Да вы же были тогда совсем детьми! – сказала она.

– Что? – переспросил я.

– Вы были на войне просто детьми, как наши ребята наверху.

Я кивнул головой – ее правда. Мы были на войне девами неразумными, едва расставшимися с детством.

– Но вы же так не напишете, верно? – сказала она. Это был не вопрос – это было обвинение.

– Я... я сам не знаю, – сказал я.

– Зато я знаю, – сказала она. – Вы притворитесь, что вы были вовсе не детьми, а настоящими мужчинами, и вас в кино будут играть всякие Фрэнки Синатры и Джоны Уэйны или еще какие-нибудь знаменитости, скверные старики, которые обожают войну. И война будет показана красиво, и пойдут войны одна за другой. А драться будут дети, вон как те наши дети наверху.

И тут я все понял. Вот отчего она так рассердилась. Она не хотела, чтобы на войне убивали ее детей, чьих угодно детей. И она думала, что книжки и кино тоже подстрекают к войнам.

И тут я поднял правую руку и дал ей торжественное обещание.

– Мэри, – сказал я, – боюсь, что эту свою книгу я никогда не кончу. Я уже написал тысяч пять страниц и все выбросил. Но если я когда-нибудь эту книгу кончу, то даю вам честное слово, что никакой роли ни для Фрэнка Синатры, ни для Джона Уэйна в ней не будет. И знаете что, – добавил я, – я назову книгу «Крестовый поход детей».

После этого она стала моим другом.

Мы с О'Хэйром бросили вспоминать, перешли в гостиную и заговорили про всякое другое. Нам захотелось подробнее узнать о настоящем крестовом походе детей, и О'Хэйр достал книжку из своей библиотеки под названием «Удивительные заблуждения народов и безумства

толпы», написанную Чарльзом Макэем, доктором философических наук, и изданную в Лондоне в 1841 году.

Макэй был неважного мнения обо всех крестовых походах. Крестовый поход детей казался ему только немного мрачнее, чем десять крестовых походов взрослых. О'Хэйр прочел вслух этот прекрасный отрывок:

Историки сообщают нам, что крестоносцы были людьми дикими и невежественными, что вело их неприкрытое ханжество и что путь их был залит слезами и кровью. Но романисты, с другой стороны, приписывают им благочестие и героизм и в самых пламенных красках рисуют их добродетели, их великодушие, вечную славу, каковую они заслужили, возданную им по заслугам, и неизмеримые благодеяния, оказанные ими делу христианства.

А дальше О'Хэйр прочел вот что:

Но каковы же были истинные результаты всех этих битв? Европа растратила миллионы своих сокровищ и пролила кровь двух миллионов своих сынов, а за это кучка драчливых рыцарей овладела Палестиной лет на сто. Макэй рассказывает нам, что крестовый поход детей начался в 1213 году, когда у двух монахов зародилась мысль собрать армии детей во Франции и Германии и продать их в рабство на севере Африки. Тридцать тысяч детей вызвалось отправиться, как они думали, в Палестину.

«Должно быть, это были дети без призора, без дела, какими кишат большие города, – пишет Макэй, – дети, выпестованные пороками и дерзостью и готовые на всё».

Папа Иннокентий III тоже считал, что дети отправляются в Палестину, и пришел в восторг. «Дети бдят, пока мы дремлем!» – воскликнул он.

Большая часть детей была отправлена на кораблях из Марселя, и примерно половина погибла при кораблекрушениях. Остальных высадили в Северной Африке, где их продали в рабство.

По какому-то недоразумению часть детей сочли местом отправки Геную, где их не подстерегали корабли рабовладельцев. Их приютили, накормили, расспросили добрые люди и, дав им немножко денег и много советов, отправили восвояси.

В эту ночь меня уложили спать в одной из детских. О'Хэйр положил мне на ночной столик книжку. Называлась она «Дрезден. История, театры и галерея», автор Мэри Энделл. Книга вышла в 1908 году, и предисловие начиналось так:

Надеемся, что эта небольшая книга принесет пользу. В ней сделана попытка дать читающей английской публике обзор Дрездена с птичьего полета, объяснить, как город обрел свой архитектурный облик, как он развивался в музыкальном отношении благодаря гению нескольких человек, а также обратить взор читателя на те бессмертные явления в искусстве, которые привлекают к Дрезденской галерее внимание тех, кто ищет неизгладимых впечатлений.

Я еще немножко почитал историю города:

В 1760 году Дрезден был осажден пруссаками. Пятнадцатого июля началась канонада. Картинную галерею охватил огонь. Многие картины были перенесены в Кенигсштейн, но некоторые сильно пострадали от осколков снарядов – особенно «Крещение Христа» кисти Франсиса. Вслед за тем величественная башня Крестовой церкви, с которой день и ночь следили за передвижением противника, была охвачена пламенем. В противовес печальной судьбе Крестовой церкви церковь Пресвятой Девы осталась нетронутой, и от каменного ее купола прус-

ские снаряды отлетали, как дождевые капли. Наконец Фридриху пришлось снять осаду, так как он узнал о падении Глаца, средоточия его недавних завоеваний. «Нам должно отступить в Силезию, дабы не потерять все», – сказал он.

Разрушения в Дрездене были неисчислимы. Когда Гете, юным студентом, посетил город, он все еще застал унылые руины: «С купола церкви Пресвятой Девы я увидел сии горькие останки, рассеянные среди превосходной планировки города; и тут церковный служака стал похваться передо мной искусством зодчего, который в предвидении столь нежеланных случайностей укрепил церковь и купол ее против снарядного огня. Добрый служитель указал мне затем на руины, видневшиеся повсюду, и сказал раздумчиво и кратко: «Дело рук врага».

На следующее утро мы с девчурками пересекли реку Делавар, там, где ее пересекал Джордж Вашингтон. Мы поехали на Международную выставку в Нью-Йорке, поглядели на прошлое с точки зрения автомобильной компании Форда и Уолта Диснея и на будущее с точки зрения компании «Дженерал моторс».

А я спросил себя о настоящем: какой оно ширины, какой глубины, сколько мне из него достанется?

В течение двух следующих лет я вел творческий семинар в знаменитом кабинете писателя при университете штата Айова. Я попал в невероятнейший переплет, потом выбрался из него. Преподавал я во вторую половину дня. По утрам я писал. Мешать мне не разрешалось. Я работал над моей знаменитой книгой о Дрездене.

А где-то там милейший человек по имени Симор Лоуренс заключил со мной договор на три книги, и я ему сказал:

– Ладно, первой из трех будет моя знаменитая книга про Дрезден.

Друзья Симора Лоуренса зовут его «Сэм», и теперь я говорю Сэму:

– Сэм, вот она, эта книга.

Книга такая короткая, такая путаная, Сэм, потому что ничего вразумительного про бойню написать нельзя. Всем положено умереть, навеки замолчать и уже никогда ничего не хотеть. После бойни должна наступить полнейшая тишина, да и вправду все затихает, кроме птиц.

А что скажут птицы? Одно они только и могут сказать о бойне: «Пьюти-фьют?»

Я сказал своим сыновьям, чтобы они ни в коем случае не принимали участия в боях и чтобы, услышав об избиении врагов, они не испытывали бы ни радости, ни удовлетворения.

И еще я им сказал, чтобы они не работали на те компании, которые производят механизмы для массовых убийств, и с презрением относились бы к людям, считающим, что такие механизмы нам необходимы.

Как я уже сказал, я недавно ездил в Дрезден со своим другом О'Хэйром. Мы ужасно много смеялись и в Гамбурге, и в Берлине, и в Вене, и в Зальцбурге, и в Хельсинки, и в Ленинграде тоже. Мне это очень пошло на пользу, потому что я увидел настоящую обстановку для тех выдуманных историй, которые я когда-нибудь напишу. Одна будет называться «Русское барокко», другая – «Целоваться воспрещается» и еще одна – «Долларовый бар», а еще одна – «Если захочет случай» и так далее.

Да, и так далее.

Самолет «Люфтганзы» должен был вылететь из Филадельфии, через Бостон, во Франкфурт. О'Хэйр должен был сесть в Филадельфии, а я в Бостоне, и – в путь! Но Бостон был залит дождем, и самолет прямо из Филадельфии улетел во Франкфурт. И я стал непассажиrom

в бостонском тумане, и «Люфтганза» посадила меня в автобус с другими непассажирами и отправила нас в отель на неночевку.

Время остановилось. Кто-то шалил с часами, и не только с электрическими часами, но и с будильниками. Минутная стрелка на моих часах прыгала – и проходил год, и потом она прыгала снова.

Я ничего не мог поделать. Как землянин, я должен был верить часам – и календарям тоже.

У меня были с собой две книжки, я их собирался читать в самолете. Одна была сборник стихов Теодора Рётке «Слова на ветер», и вот что я там нашел:

Проснусь – и медлю отойти от сна.
Ищу судьбу везде, где страха нет.
Учусь идти, куда мой путь ведет.

Вторая моя книжка была написана Эрикой Островской и называлась «Селин и его видение мира». Селин был храбрым солдатом французской армии в Первой мировой войне, пока ему не раскроили череп. После этого он страдал бессонницей, шумом в голове. Он стал врачом и в дневное время лечил бедняков, а всю ночь писал странные романы. Искусство невозможно без пляски со смертью, писал он.

«Истина – в смерти, – писал он. – Я старательно боролся со смертью, пока мог... я с ней плясал, осыпал ее цветами, кружил в вальсе... украшал лентами... щекотал ее...»

Его преследовала мысль о времени. Мисс Островская напомнила мне потрясающую сцену из романа «Смерть в кредит», где Селин пытается остановить суету уличной толпы. С его страниц несется визг: «Остановите их... не давайте им двигаться... Скорей, заморозьте их... навеки... Пусть так и стоят...»

Я поискал в Библии, на столике в мотеле, описание какого-нибудь огромного разрушения.

Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор.

И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба.

И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли.

Такие дела.

В обоих городах, как известно, было много скверных людей. Без них мир стал лучше. И конечно, жене Лота не велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища. Но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так по-человечески.

И она превратилась в соляной столб. Такие дела.

Нельзя людям оглядываться. Больше я этого делать, конечно, не стану. Теперь я кончил свою военную книгу. Следующая книга будет очень смешная.

А эта книга не удалась, потому что ее написал соляной столб.

Начинается она так:

«Послушайте:

Билли Пилигрим отключился от времени».

А кончается так:

«Пьюти-фьют?»

2

Послушайте:

Билли Пилигрим отключился от времени.

Билли лег спать пожилым вдовцом, а проснулся в день свадьбы. Он вошел в дверь в 1955 году, а вышел из другой двери в 1941-м. Потом вернулся через ту же дверь и очутился в 1963 году. Он говорит, что много раз видел и свое рождение, и свою смерть и то и дело попадал в разные другие события своей жизни между рождением и смертью.

Так говорил Билли.

Его перебрасывает во времени рывками, и он не властен над тем, куда сейчас попадет, да и не всегда это приятно. Он постоянно нервничает, как актер перед выступлением, потому что не знает, какую часть своей жизни ему сейчас придется сыграть.

Билли родился в 1922 году в Илиуме, штат Нью-Йорк, в семье парикмахера. Он был странноватым мальчиком и стал странноватым юнцом – высоким и слабым, похожим на бутылку из-под кока-колы. Он окончил илиумскую гимназию в первой десятке своего класса и проучился один семестр на вечерних курсах оптометристов, в том же Илиуме, перед тем как его призвали на военную службу: шла Вторая мировая война. Во время этой войны отец его погиб на охоте. Такие дела.

Билли воевал в пехоте в Европе и попал в плен к немцам. После демобилизации в 1945 году Билли снова поступил на оптометрические курсы. В последнем семестре он обручился с дочкой основателя и владельца курсов, а потом заболел легким нервным расстройством.

Его поместили в военный госпиталь близ Лейк-Плэсида, лечили электрошоком и вскоре выписали. Он женился на своей нареченной, окончил курсы, и тесть устроил его у себя в деле. Илиум – особенно выгодное место для оптиков, потому что там расположена Всеобщая сталелитейная компания. Каждый служащий компании обязан иметь пару защитных очков и надевать их на производстве. В Илиуме на компанию служило шестьдесят восемь тысяч человек. Значит, нужно было изготовить массу линз и массу оправ.

Оправы – самое денежное дело.

Билли разбогател. У него было двое детей – Барбара и Роберт. Со временем Барбара вышла замуж, тоже за оптика, и Билли принял его в дело. Сын Билли, Роберт, плохо учился, но потом он поступил в знаменитую воинскую часть «зеленые береты». Он выправился, стал красивым юношей и сражался во Вьетнаме.

В начале 1968 года группа оптометристов, где был и Билли, наняла специальный самолет – они летели из Илиума на международный оптометрический съезд в Монреале. Самолет разбился над горами Шугарбуш в Вермонте. Все погибли, кроме Билли. Такие дела.

Пока Билли приходил в себя в одной из вермонтских больниц, его жена скончалась от случайного отравления окисью углерода. Такие дела.

После катастрофы Билли вернулся в Илиум и вначале был очень спокоен. Через всю макушку у него шел чудовищный шрам. Практикой он больше не занимался. За ним ухаживала экономка. Дочка приезжала к нему почти каждый день.

И вдруг без всякого предупреждения Билли поехал в Нью-Йорк и выступил по вечерней программе, обычно передававшей всякие беседы. Он рассказал, как он заплутался во времени. Он также сказал, что в 1967 году его похитило летающее блюдце. Блюдце это, сказал он, прилетело с планеты Тральфамадор. И его отвезли на Тральфамадор и там показывали в голом

виде посетителям зоопарка. Там его спарили с бывшей кинозвездой, тоже с Земли, по имени Монтана Уайлдбек.

Какие-то бессонные граждане в Илиуме слышали Билли по радио, и один из них позвонил его дочери Барбаре. Барбара расстроилась. Они с мужем поехали в Нью-Йорк и привезли Билли домой. Билли мягко, но упорно настаивал, что говорил по радио чистую правду. Он сказал, что его похитили тральфамадорцы в день дочкиной свадьбы. Никто его не хватился, объяснил он, потому что тральфамадорцы провели его по такому витку времени, что он мог годами пребывать на Тральфамadore, а на Земле отсутствовать одну микросекунду.

Прошел еще месяц, без всяких инцидентов, а потом Билли написал письмо в «Новости Илиума», и газета опубликовала это письмо. В нем описывались существа с Тральфамадора.

В письме говорилось, что они двух футов ростом, зеленые и напоминают по форме «прокачку» – ту штуку, которой водопроводчики прокачивают трубы. Присосок у них касается почвы, а чрезвычайно гибкие стержни обычно смотрят вверх. Каждый стержень кончается маленькой рукой с зеленым глазом на ладони. Существа настроены вполне дружелюбно и умеют видеть все в четырех измерениях. Они жалеют землян, оттого что те могут видеть только в трех измерениях. Они могут рассказать землянам чудеснейшие вещи, особенно про время. Билли обещал рассказать в своем следующем письме о многих чудеснейших вещах, которым его научили тральфамадорцы.

Когда появилось первое письмо, Билли уже работал над вторым. Второе письмо начиналось так:

«Самое важное, что я узнал на Тральфамadore, это то, что, когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив в прошлом, так что очень глупо плакать на его похоронах. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Тральфамадорцы умеют видеть разные моменты совершенно так же, как мы можем видеть всю цепь Скалистых гор. Они видят, насколько все эти моменты постоянны, и могут рассматривать тот момент, который их сейчас интересует. Только у нас, на Земле, существует иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке, и что если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно.

Когда тральфамадорец видит мертвое тело, он думает, что этот человек в данный момент просто в плохом виде, но он же вполне благополучен во многие другие моменты. Теперь, когда я слышу, что кто-то умер, я только пожимаю плечами и говорю, как сами тральфамадорцы говорят о покойниках: “Такие дела”».

* * *

И так далее.

Билли сочинял письмо в подвальном помещении своего пустого дома, где был свален всякий хлам. У экономки был выходной день. В подвале стояла старая пишущая машинка... Рухлядь, а не машинка. Она весила больше, чем котел отопления. Билли не мог ее перенести в другое место, оттого и писал в захламленном подвале, а не у себя в комнате.

Котел отопления испортился. Мышь прогрызла изоляцию на проводе термостата. Температура в доме упала до пятидесяти по Фаренгейту, но Билли ничего не замечал. И одет он был не слишком тепло. Он сидел босой, все еще в пижаме и халате, хотя дело шло к вечеру. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью.

Но сердце у Билли горело радостью. Оно горело оттого, что Билли верил и надеялся принести многим людям утешение, открыв им правду о времени. У входной двери без конца заливался звонок. Пришла его дочь Барбара. В конце концов она отперла дверь своим ключом и прошла у него над головой, крича: «Папа, папочка, где ты?» – и так далее.

Билли не откликался, и она впала в совершенную истерику, решив, что сейчас найдет его труп. И наконец заглянула в самое неожиданное место – в подвальную кладовку.

– Почему ты не отвечал, когда я звала? – спросила Барбара, стоя в дверях подвала. В руке она сжимала номер газеты, где Билли описывал своих знакомцев с Тральфамадора.

– А я тебя не слышал, – сказал Билли.

Партии в этом оркестре на данный момент были распределены так: Барбаре было всего двадцать один год, но она считала своего отца престарелым – хотя ему-то было всего сорок шесть, – престарелым, потому что ему повредило мозги во время самолетной катастрофы. И еще она считала себя главой семьи, потому что ей пришлось хлопотать на похоронах матери, а потом нанимать экономку для Билли, и все такое. А кроме того, Барбаре с мужем приходилось распоряжаться денежными делами Билли, и притом довольно значительными суммами, так как Билли с некоторых пор совершенно наплеватьски относился к деньгам. И из-за всей этой ответственности в таком юном возрасте она стала довольно противной особой. А между тем Билли старался сохранить свое достоинство, доказать Барбаре и всем остальным, что он вовсе не постарел и, напротив, посвятил себя гораздо более важному делу, чем прежняя его работа.

Он считал, что сейчас он прописывает душам землян корректирующие очки – ни более ни менее. Билли считал, что на Земле столько несчастных заблудших душ, потому что они не могут видеть все так же ясно, как его маленькие друзья-тральфамадорцы.

– Не лги мне, отец, – сказала Барбара. – Я отлично знаю, что ты слышал, как я тебя звала.

Она была довольно хорошенькая, только ноги у нее были как ножки у старинного рояля. Она стала ругательно ругать Билли за письмо в газету. Она сказала, что он выставляет на посмешище себя и всех, кто с ним связан.

– Ах, отец, отец, отец, – сказала Барбара, – ну что нам с тобой делать? Хочешь заставить нас отправить тебя туда, где твоя мама?

Дело в том, что мать Билли еще была жива. Она лежала без движения в пансионе для престарелых, в так называемом Сосновом бору, на окраине Илиума.

– Да что тебя так рассердило в моем письме? – спросил Билли.

– Но это сплошной бред! Там все неправда.

– Нет, все правда. – Билли не сердился, как сердилась она. Он никогда ни на кого не сердился. Удивительный у него был характер.

– Нет такой планеты Тральфамадор!

– То есть ты хочешь сказать, что ее не видно с Земли, – сказал Билли. – А с Тральфамадора Земли не видать, понимаешь? Обе планеты очень малы. И расстояние между ними огромное.

– Откуда ты взял такое дурацкое название – Тральфамадор?

– Так ее называют существа, живущие там.

– О Господи! – сказала Барбара и повернулась к нему спиной. В справедливой досаде она похлопывала ладонью: – Разрешить задать тебе простой вопрос?

– Конечно, пожалуйста.

– Почему ты никогда обо всем этом не говорил до катастрофы с самолетом?

– Считал, что время еще не пришло.

Ну и так далее. Билли говорит, что впервые запутался во времени в 1944 году, задолго до полета на Тральфамадор. Тральфамадорцы тут были ни при чем. Они просто помогли ему понять то, что происходило на самом деле.

Билли заблудился во времени, когда еще шла Вторая мировая война. На войне Билли служил помощником капеллана. Обычно в американской армии помощник капеллана – фигура

комическая. Не был исключением и Билли. Он никак не мог ни повредить врагам, ни помочь друзьям. Фактически друзей у него и не было. Он был служкой при священнике, ни повышений, ни наград не ждал, оружия не носил и смиренно верил в Иисуса кротчайшего, а большинство американских солдат считали это юродством.

Во время маневров в Южной Каролине Билли играл знакомые с детства гимны на маленьком черном органе, покрытом непромокаемым чехлом. На органе было тридцать девять клавишей и две педали – *vox humana* и *vox celesta*². Кроме того, Билли был поручен портативный алтарь, что-то вроде складной папки с выдвижными ножками. Папка была оклеена внутри алым плюшем, а на этом жарком плюше лежали алюминиевый полированный крест и Библия.

И алтарь, и орган были сделаны на фабрике пылесосов, в Нью-Джерси, о чем свидетельствовала марка фирмы.

Однажды во время маневров в Каролине Билли играл гимн «Твердыня веры наш Господь» – музыка Иоганна Себастьяна Баха, слова Мартина Лютера. Это было утром в воскресенье, и Билли со своим капелланом собрали человек пятьдесят солдат на каролинском холме. Вдруг появился наблюдатель. На маневрах было полным-полно наблюдателей, людей, которые сообщали, кто победил и кто проиграл в условных боях, кто живой, а кто мертвый.

Наблюдатель принес смешную весть. Оказывается, молящихся условно засек с воздуха условный неприятель. И все они были условно убиты. Условные трупы захохотали и с удовольствием как следует позавтракали.

Вспоминая этот случай много позднее, Билли был поражен, насколько эта история была в тральфадорском духе – быть убитым и в то же время завтракать.

К концу маневров Билли получил внеочередной отпуск, потому что его отца нечаянно подстрелил товарищ, с которым они охотились на оленей. Такие дела.

Когда Билли вернулся из отпуска, его ждал приказ – отправиться за море. Его затребовал штаб одного из пехотных полков, сражавшихся в Люксембурге. Помощник полкового капеллана был там убит в бою. Такие дела.

Полк, куда явился Билли, в это время изничтожался немцами в знаменитом сражении в Арденнах. Билли даже не встретился с капелланом, к которому был назначен помощником, ему даже не успели выдать ни стального шлема, ни сапог. Было это в декабре 1944 года, во время последнего мощного наступления германской армии.

Билли спасся, но, совершенно обалделый, побрел куда-то, далеко за новые позиции немцев. Три других спутника, не таких обалделых, как Билли, позволили ему брести за ними. Двое из них были разведчиками, третий – стрелок противотанкового полка. Ни продовольствия, ни карты у них не было. Избегая немцев, они все глубже уходили в предательскую сельскую тишину. Они ели снег.

Шли они гуськом. Первыми шли разведчики, ловкие, складные, спокойные. У них были винтовки. За ними шел стрелок, неуклюжий и туповатый малый, держа наготове против немцев в одной руке автоматический «кольт», а в другой – охотничий нож.

Последним брел Билли с пустыми руками, уныло ожидая смерти. Билли выглядел нелепо: высокий, шесть футов три дюйма, грудь и плечи – как большой коробок спичек. У него не было ни шлема, ни шинели, ни оружия, ни сапог. На ногах у него были дешевые, глубоко гражданские открытые туфли, купленные для похорон отца. Один каблук отвалился, и Билли шел прихрамывая, вверх-вниз, вверх-вниз. От невольного пританцовывания болели все суставы.

На нем была тонкая форменная куртка, рубаха и брюки из кусачей шерсти, а под ними – длинные кальсоны, мокрые от пота. Из всех он один был с бородой. Борода была растрепанная, щетинистая, и некоторые щетинки были совсем седые, хотя Билли исполнился только двадцать один год. Он начинал лысеть. От ветра, холода и быстрой ходьбы лицо у него побагровело.

² Голос человеческий и глас небесный (*лат.*).

Он был совершенно не похож на солдата. Он походил на невымытого фламинго.

Так они бродили два дня, а на третий день кто-то выстрелил по их четверке – они как раз переходили узкую мощеную дорожку. Один выстрел предназначался разведчикам. Второй – стрелку, которого звали Роланд Вири.

А третья пуля полетела в невымытого фламинго, и он застыл на месте посреди дороги, когда смертельная пчела прожужжала мимо его уха. Билли вежливо остановился – надо же дать снайперу еще одну возможность. У него были путанные представления о правилах ведения войны, и ему казалось, что снайперу надо дать попробовать еще разок.

Вторая пуля чуть не задела коленную чашечку Билли и, судя по звуку, пролетела в каком-нибудь дюйме.

Роланд Вири и оба разведчика уже благополучно спрятались в канаве, и Вири зарычал на Билли: «Уйди с дороги, мать твою трам-тарарам». Тогда, в 1944 году, этот глагол редко употреблялся вслух. Билли очень удивился, а так как он сам еще никогда никого не «трам-тарарам», эти слова прозвучали очень свежо и возымели действие. Он очнулся и убежал с дороги.

«Опять спас тебе жизнь, дурак такой-растакой», – сказал Вири, когда Билли спрыгнул в канаву. Он сто раз на дню спасал Билли жизнь: ругал его на чем свет стоит, бил, толкал, чтобы тот не останавливался. Это была необходимая жестокость, потому что Билли ничего не желал делать для своего спасения. Билли хотелось все бросить. Он замерз, оголодал, потерялся, ничего не умел. Он еле отличал сон от бдения, а на третий день уже не чувствовал никакой разницы – шел он или стоял на месте. Он хотел одного – чтобы его оставили в покое. «Идите без меня, ребята», – повторял он без конца.

Вири тоже был новичком на войне. Его тоже прислали взамен другого. Он попал в орудейный расчет и помог выпустить один свирепый снаряд – из пятидесятимиллиметровой противотанковой пушки. Снаряд вжикнул, как молния на брюках самого Вседержителя. Снаряд сожрал снег и траву, словно пламя огнемёта в тридцать футов длиной. Пламя оставило на земле черную стрелу, точно указавшую немцам, где стояла пушка. В цель снаряд не попал.

А целью был танк «тигр». Словно принохиваясь, он поворачивал свой восьмидесятимиллиметровый хобот, пока не увидал стрелу на земле. Танк выстрелил. Выстрел убил весь орудейный расчет, кроме Вири. Такие дела.

* * *

Роланду Вири было всего восемнадцать лет, и за его спиной лежало несчастливое детство, проведенное главным образом в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В Питтсбурге его не любили. Не любили его за то, что он был глупый, жирный и подлый и от него пахло копченым салом, сколько он ни мылся. Его вечно отшивали ребята, не желавшие с ним водиться.

Вири терпеть не мог, когда его отшивали. Его отошлют – а он найдет мальчишку, которого ребята не любят еще больше, чем его, и начинает притворяться, что хорошо к нему относится. Сначала дружит с ним, а потом найдет какой-нибудь предлог и избьет до полусмерти.

И так всегда. Отношения с ребятами у него шли как по плану – гнусные, полуэротические, кровожадные. Вири рассказывал им про коллекцию своего отца – тот собирал ружья, сабли, орудия пыток, кандалы, наручники и всякое такое. Отец Вири был водопроводчиком, действительно коллекционировал такие штуки, и его коллекция была застрахована на четыре тысячи долларов. И он был не одинок. Он был членом большого клуба, куда входили любители таких коллекций.

Отец Вири однажды подарил его мамаше вместо пресс-папье настоящие испанские тиски для пальцев в полной исправности. Другой раз он ей подарил настольную лампу, а подставка, в фут высотой, изображала знаменитую «железную деву» из Нюрнберга. Подлинная «железная дева» была средневековым орудием пытки, что-то вроде котла, снаружи похожего на женщину, а внутри усаженного шипами. . . Спереди женщина раскрывалась двумя дверцами на шарнирах. Замысел был такой: засадить туда преступника и медленно закрывать дверцы. Внутри были два специальных шипа на том месте, куда приходились глаза жертвы. На дне был сток, чтобы выпускать кровь.

Вот такие дела.

Вири рассказывал Билли Пилигриму про «железную деву», про сток на дне и зачем его там устроили. Он рассказал Билли про пули «дум-дум». Он рассказал ему про пистолет системы Деррингера, который можно было носить в жилетном кармане, а дырку в человеке он делал такой величины, что «летучая мышь могла пролететь и крылышек не запачкать».

Вири с презрением предложил побиться с Билли об заклад, что тот даже не знает, что значит «сток для крови». Билли предположил, что это дырка на дне «железной девы», но он не угадал. Стоком для крови, объяснил Вири, назывался неглубокий желобок на лезвии сабли или штыка.

Вири рассказывал Билли про всякие затейливые пытки – он про них и читал, и в кино насмотрелся, и по радио наслушался – и про всякие другие затейливые пытки, которые он сам изобрел. Он спросил Билли, какая, по его мнению, самая ужасная пытка. У Билли никакого своего мнения на этот счет не было. Оказывается, верный ответ был такой: «Надо связать человека и положить в муравейник в пустыне, понял? Положить лицом вверх, и весь пах вымазать медом, а веки срезать, чтоб смотрел прямо на солнце, пока не сдохнет».

Такие дела.

Теперь, лежа в канаве с двумя разведчиками и с Билли, Роланд Вири заставил Билли как следует разглядеть свой охотничий нож. Нож был не казенный. Роланду подарил нож его отец. У ножа было трехгранное лезвие длиной в десять дюймов. Ручка у него была в виде медного кастета из ряда колец, в которые Вилли просовывал свои жирные пальцы. И кольца были не простые. На них топорщились шипы.

Вири прикладывал шипы к лицу Билли и с осторожной свирепостью поглаживал его щеку:

– Хочешь – ударю, хочешь? М-mmm? Мmmm-мммм?

– Нет, не хочу, – сказал Билли.

– А знаешь, почему лезвие трехгранное?

– Нет, не знаю.

– От него рана не закрывается.

– А-аа.

– От него дырка в человеке треугольная. Обыкновенным ножом ткнешь в человека – получается разрез. Понял? А разрез сразу закрывается. Понял?

– Понял.

– Фиг ты понял. И чему вас только учат в колледжах в ваших!

– Я там недолго пробыл, – сказал Билли. И он не соврал. Он пробыл в колледже всего полгода, да и колледж-то был ненастоящий. Это были вечерние курсы оптометристов.

– Липовый твой колледж, – ядовито сказал Вири.

Билли пожал плечами.

– В жизни такое бывает, чего ни в одной книжке не прочитаешь, – сказал Вири. – Сам увидишь.

На это Билли ничего не ответил: там, в канаве, ему было не до разговоров. Но он чувствовал смутное искушение – сказать, что и ему кое-что было известно про кровь и все такое. В конце концов, Билли не зря с самого детства изо дня в день утром и вечером смотрел на жуткие муки и страшные пытки. В Илиуме, в его детской комнатке, висело ужасающее распятие. Военный хирург одобрил бы клиническую точность, с которой художник изобразил все раны Христа – рану от копья, раны от тернового венца, рваные раны от железных гвоздей. В детской у Билли Христос умирал в страшных муках. Его было ужасно жалко.

Такие дела.

Билли не был католиком, хотя и вырос под жутким распятием. Отец его никакой религии не исповедовал. Мать была вторым органистом в нескольких церквях города. Она брала Билли с собой в церкви, где ей приходилось заменять органиста, и научила его немножко играть. Она говорила, что примкнет к церкви, когда решит, которая из них самая правильная.

Но решить она так и не решила. Однако ей очень хотелось иметь распятие. И она купила распятие в Санта-Фе, в лавочке сувениров, когда их небольшое семейство съездило на Запад, во время Великой депрессии. Как многие американцы, она пыталась украсить свою жизнь вещами, которые продавались в лавочках сувениров.

И распятие повесили на стенку в детской Билли Пилигрима.

Оба разведчика, поглаживая полированные приклады винтовок, прошептали, что пора бы выбраться из канавы. Прошло уже десять минут, но никто не подошел посмотреть – подстрелили их или нет, никто их не прикончил. Как видно, одинокий стрелок был где-то далеко.

Все четверо выползли из канавы, не навлекая на себя огня. Они доползли до леса – на четвереньках, как и полагалось таким большим невезучим млекопитающим. Там они встали на ноги и пошли быстрым шагом. Лес был старый, темный. Сосны были посажены рядами. Кустарник там не рос. Нетронутый снег в четыре дюйма толщиной укрывал землю. Американцам приходилось оставлять следы на снегу, отчетливые, как диаграмма в учебнике бальных танцев, – шаг, скольжение, стоп, шаг, скольжение, стоп.

– Закрой пасть и молчи! – предупредил Роланд Вири Билли Пилигрима, когда они шли. Вири был похож на китайского болванчика, готового к бою. Он и был низенький и круглый, как шар.

На нем было все когда-либо выданное обмундирование, все вещи, присланные в посылках из дому: шлем, шерстяной подшлемник, вязаный колпак, шарф, перчатки, нижняя рубашка бумажная, нижняя рубашка шерстяная, верхняя шерстяная рубаха, свитер, гимнастерка, куртка, шинель, кальсоны бумажные, кальсоны шерстяные, брюки шерстяные, носки бумажные, носки шерстяные, солдатские башмаки, противогаз, котелок, ложка с вилкой, перевязочный пакет, нож, одеяло, плащ-палатка, макинтош, Библия в пулезаститном переплете, брошюра под названием «Изучай врага!», еще брошюра «За что мы сражаемся» и еще разговорник с немецким текстом в английской фонетике, чтобы Вири мог задавать немцам вопросы, как то: «Где находится ваш штаб?», или «Сколько у вас гаубиц?», или сказать: «Сдавайтесь! Ваше положение безвыходно», и так далее.

Кроме того, у Вири была деревянная подставка, чтобы легче было вылезти из стрелковой ячейки. У него был профилактический пакет с двумя очень крепкими кондомами «исключительно для предупреждения заражения». У него был свисток, но он его никому не собирався показывать, пока не станет капралом. У него была порнографическая открытка, где женщина пыталась заниматься любовью с шотландским пони. Вири несколько раз заставлял Билли Пилигрима любоваться этой открыткой.

Женщина и пони позировали перед бархатным занавесом, украшенным помпончиками. По бокам возвышались дорические колонны. Перед одной из колонн стояла пальма в горшке. Открытка, принадлежавшая Вири, была копией самой первой в мире порнографической фотографии. Само слово «фотография» впервые услышали в 1839 году – в этом году Луи Ж. – М. Дагерр доложил Французской академии, что изображение, попавшее на пластинку, покрытую тонким слоем йодистого серебра, может быть проявлено при воздействии ртутных паров.

В 1841 году, всего лишь два года спустя, Андре Лефевр, ассистент Дагерра, был арестован в Тюильрийском саду за то, что пытался продать какому-то джентльмену фотографию женщины с пони. Кстати, впоследствии и Вири купил свою открытку там же – в Тюильрийском саду. Лефевр пытался доказать, что эта фотография – настоящее искусство и что он хотел оживить греческую мифологию. Он говорил, что колонны и пальма в горшке для этого и поставлены.

Когда его спросили, какой именно миф он хотел изобразить, Лефевр сказал, что существуют тысячи мифов, где женщина – смертная, а пони – один из богов.

Его приговорили к шести месяцам тюрьмы. Там он умер от воспаления легких. Такие дела.

Билли и разведчики были очень худые. На Роланде Вири было много лишнего жира. Он пылал, как печка, под всеми своими шерстями и одежками.

В нем было столько энергии, что он без конца бегал от Билли к разведчикам, передавая знаками какие-то приказания, которых никто не посылал и никто не желал выполнять. Кроме того, он вообразил, что, проявляя настолько больше активности, чем остальные, он уже стал их вожаком.

Он был так закутан и так потел, что всякое чувство опасности у него исчезло. Внешний мир он мог видеть только ограниченно, в щелку между краем шлема и вязаным домашним шарфом, который закрывал его мальчишескую физиономию от переносицы до подбородка. Ему было так уютно, что он уже представлял себе, что благополучно вернулся домой, выжив в боях, и рассказывает родителям и сестре правдивую историю войны – хотя на самом деле правдивая история войны еще продолжалась.

У Вири сложилась такая версия правдивой истории войны: немцы начали страшную атаку. Вири и его ребята из противотанковой части сражались как львы, и все, кроме Вири, были убиты. Такие дела. А потом Вири встретился с двумя разведчиками, и они страшно подружились и решили пробиться к своим. Они решили идти без остановки. Будь они прокляты, если сдадутся. Они пожали друг другу руки. Они решили называться «три мушкетера».

Но тут к ним попросился этот несчастный студентиска, такой слабак, что для него в армии не нашлось дела. У него ни винтовки, ни ножа не было. У него даже шлема не было, даже фуражки. Он и идти прямо не мог, шкандыбал вверх-вниз, вверх-вниз, чуть с ума их не свел, мог запросто выдать их позицию. Жалкий малый. «Три мушкетера» его и толкали, и тащили, и вели, пока не дошли до своей части. Так про себя сочинял Вири. Спасли ему шкуру, этому студентиске несчастному.

А на самом деле Вири замедлил шаги – надо было посмотреть, что там случилось с Билли. Он сказал разведчикам:

– Подождите, надо пойти за этим чертовым идиотом.

Он пролез под низкой веткой. Она звонко стукнула его по шлему. Вири ничего не услышал. Где-то залаяла собака. Вири и этого не слышал. В мыслях у него разворачивался рассказ о войне. Офицер поздравлял «трех мушкетеров», обещая представить их к бронзовой звезде.

«Могу я быть вам полезным, ребята?» – спрашивал офицер.

«Да, сэр, – отвечал один из разведчиков. – Мы хотим быть вместе до конца войны, сэр. Можете вы сделать так, чтобы никто не разлучал «трех мушкетеров»?»

Билли Пилигрим остановился в лесу. Он прислонился к дереву и закрыл глаза. Голова у него откинулась, ноздри затрепетали. Он походил на поэта в Парфеноне.

Тут Билли впервые отключился от времени. Его сознание величественно проплыло по всей дуге его жизни в смерть, где светился фиолетовый свет. Там не было никого и ничего. Только фиолетовый свет – и гул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.